



Александр Мартин

•

Романтики, реформаторы, реакционеры

Русская консервативная мысль
и политика в царствование Александра I



Современная западная русистика /
Contemporary Western Rusistika

Александр Мартин

**Романтики, реформаторы,
реакционеры. Русская
консервативная мысль и политика
в царствование Александра I**

«Библиороссика»

1997

УДК 94(47).072
ББК 63.3(2)521

Мартин А.

Романтики, реформаторы, реакционеры. Русская консервативная мысль и политика в царствование Александра I / А. Мартин — «Библиороссика», 1997 — (Современная западная русистика / Contemporary Western Rusistika)

ISBN 978-5-6045354-4-8

А. М. Мартин исследует консерватизм в русской мысли, политике и культуре периода правления Александра I. Основываясь на тщательном изучении архивов, а также на опубликованных источниках на русском, английском, немецком и французском языках, автор прослеживает истоки консервативной идеологии и показывает, как русские восприняли угрозу, исходящую от Французской революции, и как на основе этой реакции в России сформировались государственная политика и национальное самосознание. Книга «Романтики, реформаторы, реакционеры» — глубокое исследование истоков русского консерватизма, нашедшего отражение в трактатах, письмах и мемуарах ведущих мыслителей своего времени. В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

УДК 94(47).072
ББК 63.3(2)521

ISBN 978-5-6045354-4-8

© Мартин А., 1997
© Библиороссика, 1997

Содержание

Слова благодарности	6
Введение	7
Глава 1	17
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Александр Мартин
Романтики, реформаторы, реакционеры.
Русская консервативная мысль и
политика в царствование Александра I

Alexander M. Martin

Romantics, Reformers, Reactionaries

Russian Conservative Thought and Politics in the Reign of Alexander I

Northern Illinois University Press

1997

Перевод с английского Льва Высоцкого



© Alexander M. Martin, text, 1997

© Northern Illinois University Press, 1997

© Л. Н. Высоцкий, перевод с английского, 2021

© Academic Studies Press, 2021

© Оформление и макет ООО «Библиороссика», 2021

Слова благодарности

Я не смог бы написать эту работу без помощи самых разных людей и организаций.

Во время моей учебы в аспирантуре мне оказывали финансовую поддержку исторический факультет Пенсильванского университета, Центр советских и восточноевропейских исследований и Министерство образования США. Благодаря Совету по международным исследованиям и обменов в 1990–1991 годы я имел возможность провести исследовательскую работу в СССР, а финансовая помощь Американского совета преподавателей русского языка позволила мне совершить повторные поездки в Россию в 1994 и 1996 годах.

В первую очередь я должен поблагодарить Альфреда Рибера, моего научного руководителя, который одобрил мое намерение написать эту книгу и не позволял мне чрезмерно углубляться в увлекательные детали и упускать из виду общую картину эпохи. Другие члены комиссии, Моше Левин и Томас Чилдерс, а также Александр Рязановский, постоянно помогали мне своими советами. Марк Раев и Дэвид Макдональд оказали мне очень ценную поддержку, прочитали рукопись, выразили свое мнение и тоже дали советы. Большую помощь в работе оказали мне российские историки, в том числе Алексей Цамутали, Михаил Сафонов и Михаил Файнштейн. Я благодарен Франсису Лею, потомку баронессы фон Крюденер, позволившему мне воспользоваться своим частным архивом, а также моему отцу – доктору Дональду Мартину, который прочитал рукопись и высказал ценные предложения по ее усовершенствованию.

Как в Соединенных Штатах, так и в России я получал значительную помощь от сотрудников архивов и библиотек. Благодарю работников межбиблиотечного абонемента в библиотеке Пенсильванского университета за проявленное ими терпение в розыске необходимых мне малоизвестных работ, а также сотрудников ленинградских и московских архивов, в которых я работал (особенно Элеонору Филиппову из Архива Академии наук и Галину Ипполитову из Российского государственного исторического архива). Приношу особую благодарность сотрудникам отдела фотокопирования Российской национальной библиотеки, предоставившим мне материалы в количестве, превышавшем допустимую дневную норму. Если бы они не пошли мне навстречу, я не смог бы использовать многие редкие издания, которые цитируются в данной книге.

Возможно, я никогда не увлекся бы темой России, если бы мои родители не пробудили во мне интерес к европейской истории и культуре и если бы меня не поддержали в этом мои преподаватели в Корнеллском университете, в особенности Уолтер Пинтнер, Слава Паперно, Александр Крафт и Ричард Лид. Время занятий в аспирантуре в Пенсильванском университете было увлекательным и радостным; там у меня появилось много друзей: Джон Атес, Сью Брауэртон, Джеймс Хайнзен, Дэвид Керанс, Питер Мартин и Лесли Риммел. В непростой обстановке Ленинграда начала 1990-х мне помогали не сойти с ума Лаура Филлипс и Лойал Каулз, а также Самвел Аветисян и Антонина Славинская, которые всегда были исключительно гостеприимны и предлагали мне много ценных идей. В целом мое пребывание в прекрасном городе на Неве оказалось очень приятным и интересным. Хочу также сказать большое спасибо Джеду Гриру и ушедшему от нас Арону Паперно, чьи имена будут всегда связаны в моей памяти с этой поездкой.

Благодарю своих бывших коллег по университету Оглторпа и своих студентов, от которых я неизменно получал помощь в исторических изысканиях. Хочу также поблагодарить Центр поддержки гуманитарных исследований при Университете Нотр-Дам, который финансировал перевод моей книги на русский язык.

И наконец, никаких изысканий я бы не провел и ничего не написал бы без моральной и практической поддержки со стороны Лори (моей жены и моего редактора) и без бодрящего присутствия Джеффри и Николь, с пониманием относившихся к моей работе.

Введение

Да, мы были противниками их, но очень странными. У нас была одна любовь, но не одинакая. У них и у нас запало с ранних лет одно сильное безотчетное, физиологическое, страстное чувство, которое они принимали за воспоминание, а мы за пророчество, – чувство безграничной, обхватывающей все существование любви к русскому народу, к русскому быту, к русскому складу ума. И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно

[Герцен 1954–1966, 15: 9–10]¹

Современный российский и европейский консерватизм имеет истоком протест против рационализма и материализма эпохи Просвещения, который проявился в полную силу во время Французской революции² и был явлением многогранным, полным противоречий. Некоторые консерваторы преследовали строго определенную цель: защитить социально-политические и идеологические основы старого режима. Другие считали ненавистный им революционный взрыв порождением той же культуры Просвещения, на которой основывался старый порядок, и приходили к выводу, что старый режим нельзя возродить, если не отречься решительно и бесповоротно от просветительской культуры и ее ценностей. И наконец, встречались консерваторы, хотя и соглашавшиеся с предъявляемыми революцией обвинениями старого режима в безнравственности и подавлении личности, но полагавшие, что для искоренения этого зла следует вернуться к традициям предков, а не бросаться на борьбу за «свободу, равенство, братство». Эти внутренние противоречия позволяли консерватизму быть последовательным и политически эффективным движением – как правило, лишь тогда, когда его приверженцам удавалось создать убедительную антиреволюционную традиционалистскую идеологию и использовать ее для защиты конкретных интересов ее естественных носителей – представителей высших классов общества.

Попытке русских консерваторов достичь этой внутренней цельности изначально препятствовала революционная динамика развития государства, которое они стремились сохранить. Романовы основательно потрудились над тем, чтобы искоренить старые традиции и вестернизировать страну в духе просветительских идей. Как сказал Пушкин, в истории России деспот-реформатор Петр Великий был «одновременно и Робеспьером, и Наполеоном» [Пушкин 1950–1951, 7: 537]³. Он разрушил порядок, существовавший прежде в Московской Руси, и заменил его государством принципиально нового типа: с жесткой сословной структурой, складывавшейся из лояльного служилого дворянства, покорной церкви, крестьян и посадских людей. Эта система, усовершенствованная наследниками Петра, называется в данной книге

¹ А. И. Герцен о различиях между русскими западниками и славянофилами.

² Как писал один исследователь, «до 1789 года консерватизм в качестве позитивного, осознанного мировоззрения [во Франции] был неизвестен. <...> Однако к 1793 году новая революционная идеология стала расшатывать все устои общества: частную собственность, социальную иерархию, религию, монархический строй. Их правомочность, соответствие естественному ходу вещей подвергались сомнению; теперь их приходилось отстаивать – и в теории, и на практике» [Doyle 1989: 422]. То же самое можно сказать и об остальной Европе.

³ См. также [Эйдельман 1989, 8: 183–184, 238]. Литература, посвященная Петровским реформам, слишком обширна, чтобы рассматривать ее здесь. Достаточно привести два примера. Синтия Уиттейкер считает, что «реформы Петра приводили к революционным сдвигам» и служили «переходом от средневековых понятий [об отношениях между монархом, государством и обществом] к современным представлениям» [Whittaker 1992:83]. С другой стороны, Е. В. Анисимов обвиняет реформы в том, что они отличались чрезмерной «бескомпромиссностью, радикализмом, даже революционностью» и способствовали становлению тоталитаризма в России [Анисимов 1989: 11–12].

«старым порядком»⁴. Когда Французская революция продемонстрировала, насколько взрывоопасны могут быть просветительские идеи, было уже слишком поздно, чтобы отбросить их, не поколебав идеологических основ Российской империи. К тому же на Западе социальную базу консервативного движения составляли прочно стоявшее на ногах дворянство, традиционалистская церковь и такие объединения ремесленников, как «парламенты» во Франции или гильдии в Германии, в России же в результате Петровских реформ этой базы практически не существовало или же она была тесно связана с реформаторским вестернизированным государством⁵.

Таким образом, перед русскими консерваторами стояла трудноразрешимая дилемма. Сторонники культурного традиционализма поневоле критиковали дворянство и трон за их открытость западным влияниям, а те, кто защищал конкретные социально-экономические интересы старого образа жизни, были вынуждены обходить стороной щекотливые культурные и религиозные темы. Совместить культурный традиционализм с социально-политическими интересами никому из них не удавалось. Консерваторам, являвшимся приверженцами православной церкви, приходилось противиться ущемлению ее прав со стороны самодержавия. Для тех из них, кто выступал за наследственные права знати, неприемлемым являлся принцип служилого дворянства. Если они мечтали о возрождении нравов и обычаев предков, то им необходимо было пересмотреть свое отношение к веку вестернизации. В приведенном выше отрывке Герцен пишет, что в 1840-е годы «прогрессистов»-западников и «консерваторов»-славянофилов объединяло неприятие российских порядков, установившихся в XVIII веке. Это наблюдение вполне справедливо и для периода 1801–1825 годов, который рассматривается в данной книге.

Позиция консерваторов по отношению к идеям Французской революции сформировалась, по сути, только после 1801 года. Екатерина II пользовалась огромным авторитетом в высшем обществе, и репрессивные меры, предпринятые ею после 1789 года, способствовали уменьшению страха перед возможным импортом революции в Россию, но вместе с тем пресекали открытое выражение несогласия. При Павле I страх перед революцией достиг крайней точки, цензура и полицейский надзор проводились с необыкновенным размахом; самоволие царя вызывало повсеместное недовольство в дворянских кругах, однако оснований опасаться революции (как и публичных высказываний на эту тему) не было. После убийства Павла обстановка изменилась, стало возможным поднимать некоторые вопросы. Русское общество к этому времени уже было в состоянии прийти к некоторым выводам относительно событий во Франции. Понятно, что мнения были самые разные. У русских, осуждавших Французскую революцию, Наполеон вызывал одновременно восхищение (поскольку восстановил «порядок») и неприязнь (так как захватил корону Бурбонов). Для одних французская культура по-прежнему оставалась высшим достижением цивилизации, другие видели прежде всего ее неразрывную связь с революцией. Лозунг «Свобода, равенство, братство» одновременно притягивал людей и отталкивал. Когда в самом начале своего правления Александр I смягчил цензуру и остановил суровое преследование инакомыслия, это привело к небывалому подъему издательского дела, и давно назревавшие дебаты о том, каково значение событий во Франции для России, выплеснулись наружу. Дополнительным стимулом к возобновлению споров между консерваторами и прогрессистами явилась установка императора на политические и социальные реформы. К тому же именно при Александре впервые возникла прямая угроза вторжения французских

⁴ Чрезвычайно интересно этот вопрос рассматривается в работе Марка Раева [Raeff 1983]. Некоторые другие исследователи – Дж. Ледонн [LeDonne 1993], М. Конфино [Confino 1993], Г. Фриз [Freeze 1985] – полагают, что новшества Петра не принесли ощутимых результатов.

⁵ По мнению Раева, постпетровская Россия унаследовала у XVII века одновременно два разных мира: государство следовало европейским образцам правления, в то время как население придерживалось культурных традиций Московской Руси [Raeff 1982b].

войск в Россию. Ограниченная цензура, реформаторские планы правительства и упомянутая военная угроза создавали благоприятные условия для развития и распространения консервативной идеологии.

Среди консерваторов существовали разногласия по идеологическим и социальным мотивам, а также между представителями разных поколений, что мешало им объединиться для решения практических задач. Образовались три основных направления, оказавших влияние и на государственную политику того времени, и на будущее интеллектуальное развитие: романтический национализм, дворянский консерватизм и религиозный консерватизм. Романтический национализм, выразителями которого были А. С. Шишков и С. Н. Глинка, обращался к сохранявшей девственную чистоту народной культуре как к противоядию от морального и политического разложения, которое несла, по их мнению, европеизация. Дворянский консерватизм, ведущими представителями которого являлись Н. М. Карамзин и Ф. В. Ростопчин, был озабочен не столько судьбами культуры, сколько защитой интересов своего сословия. И наконец, религиозные консерваторы (А. Н. Голицын, А. С. Стурдза, его сестра Роксандра и другие), вдохновленные опытом британского и германского протестантизма, надеялись, что духовный потенциал христианской веры и поддерживаемая государством активная социальная деятельность сумеют примирить как элиту, так и народные массы со старым российским режимом и вдохнуть новую жизнь в его институты. Эти три общественных течения – романтический национализм, ориентированный на реформы религиозный консерватизм и дворянский консерватизм, зачастую сугубо реакционный, – являются основным предметом данного исследования.

Консервативные идеи не были в какой-то степени чужды и Александру I, хотя полностью он не мог поддержать ни одну из них, поскольку всякое утверждение консервативной идеологии в России неизбежно подрывало устои режима и таило в себе противоречия. Националисты-романтики проклинали вестернизацию и в то же время прославляли склонных к вестернизации царей, восхваляли крестьян как носителей русского духа и защищали крепостное право. Консерваторы-дворяне хотели действовать так же активно и самостоятельно, как дворянство в Англии и Франции, но поддерживали абсолютную монархию, потому что сильная власть могла защитить их привилегии; к тому же в российской истории не было прецедента, когда дворянство защищало свои права хотя бы в публичных выступлениях. И наконец, консерваторы религиозного толка выступали за духовное очищение Европы, которое могло быть достигнуто только в том случае, если бы все короли и все дворяне раскаялись в грехах; сами же они при этом никак не могли разрешить проблему своего крайне противоречивого отношения к основе основ русской религиозной традиции – православной церкви.

Ни одна из этих концепций не могла послужить фундаментом для управления обществом, сохранения существующего порядка вещей или поддержки преобразований, авторитарно проводимых короной. Точно так же, как Французская революция отступила под натиском наполеоновской диктатуры, консерватизм Александровской эпохи сошел на нет во второй четверти XIX века при абсолютистско-бюрократическом режиме Николая I. В обеих странах, как и во всей Европе, революционные идеи были институализированы и в то же время подавлены бездушной государственной машиной, которая освободилась от ограничений, налагавшихся старым режимом, и лишь для маскировки была покрыта тонким идеологическим налетом.

Хотя консерватизм в России выступал, как и везде, против революции, он был порождением той же европейской культуры XVIII века, что и революционное движение, и существовал в той же интеллектуальной среде. Зачастую консерваторы и радикалы состояли в родстве в буквальном смысле слова: Александр Тургенев и Сергей Глинка поддерживали самодержавие, в то

время как их братья Николай и Федор примкнули к декабристам⁶. Говоря шире, франкоязычное Просвещение, сформировавшее менталитет французских революционеров, решительным образом повлияло и на образ мыслей русских дворян. Как выразился Герцен, даже во время Наполеоновских войн русские националисты «перекладывали [русскую историю] на европейские нравы» и «переводили римско-греческий патриотизм с французского на русский» [Герцен 1954–1966, 9: 130].

Наряду с этим прямым воздействием французских идей, в России и Европе происходили параллельные процессы. Линн Хант считает, что в конце XVIII века был развенчан патриархальный идеал монархии, служивший обоснованием законности французского абсолютизма. Одновременно с этим, как отмечает Стивен Бэр, в России терял популярность «миф о рае», согласно которому царь представляет Бога на земле, а русские люди, поклоняясь этой «иконе», могут восстановить земной рай. Ведущие литераторы, в частности, перестали превозносить священный образ царя и выступили в противоположной, «иконоборческой» роли. Целый ряд приводимых Бэром примеров – от А. Н. Радищева, противника абсолютной власти и крепостного права, до Г. Р. Державина, консерватора и сторонника самодержавия, – демонстрирует политически нейтральный (или «предполитический») характер происходивших изменений [Baehr 1984: 162, 158–164]⁷. Русская элита присоединялась к масонству, ставившему целью осуществить социальный прогресс путем морального самосовершенствования. Масонские ложи служили плавильным котлом, где формировалось критическое отношение к старому режиму, являвшееся общим как для русских консерваторов, так и для западных радикалов. Жан Старобинский замечает, что европейские франкмасоны XVIII века представляли свою программу как «исключительно моральную, не политическую», а между тем она «резко критиковала государственное устройство, так что вопреки провозглашаемой аполитичности их деятельность приобретала сугубо политический характер» [Starobinski 1979: 145]⁸.

Подобно вождям Французской революции, русские аристократы получали классическое образование, в основе которого лежали идеи сентиментализма и философии Ж. Ж. Руссо. Беря за образец реальные исторические личности или литературных героев, они поклонялись идеалу добропорядочного благонадежного гражданина, красноречивого, «естественного», близкого к природе, стойкого и готового отдать все ради родины, пекущегося о благе всего человечества, экспансивного и способного на сильное и глубокое чувство. Как правило, эти герои были лишены таких качеств, как эгоизм, практицизм, сухая рассудочность; им была чужда городская цивилизация с ее неестественными увлечениями и напускными чувствами, не говоря уже об ироничной отстраненности. Эти образы формировали представление русского читателя о мире: их пафос усиливал в нем любовь или ненависть, не допускал компромиссов; происходящее вызывало в этих героях прежде всего эмоциональную реакцию, а не прагматичные соображения. Восприятие людьми своей эпохи и ее главных действующих лиц (в первую очередь Наполеона и Александра I) колебалось между апокалиптическим ужасом и ожиданием тысячелетнего Царства Божия.

В культуре конца XVIII века стало уделяться больше внимания низшим классам, поскольку человек, чьи убеждения основывались на просветительской морали, вряд ли мог считать приоритетными общественными ценностями корпоративные интересы царской семьи, чиновничества, дворянства или церковников [Лотман 1994: 62–64]. Просветительская культура с ее понятиями сентиментализма и «возврата к природе» учила, что у крестьян тоже есть чувства, а забота об их благе и тем самым о благе родины – благородное побуждение. К тому же Французская революция продемонстрировала в ярких красках, какой разрушительной силой

⁶ Н. В. Рязановский также видит много общего у декабристов и советников Александра I [Riasanovsky 1976: 98–99].

⁷ См. также [Hunt 1992: 25; Schmidt 1996: 7–13; Whittaker 1996].

⁸ См. также [Smith 1995: 34].

обладают взбудораженные массы, поэтому русские публицисты-консерваторы, подобно своим британским и немецким собратьям 1790-х годов [Epstein 1966: 461–465; Hole 1983], апеллировали к низшим слоям населения. Так, Ростопчин в 1812 году адресовал свои афиши рядовым москвичам, а среди подписчиков журнала С. Глинки «Русский вестник» были как петербургский великий князь, так и небогатый горожанин из Северо-Восточной Сибири. Консерваторы не ограничивались единичными обращениями непосредственно к народу, но сделали характер простых людей и их потребности главной темой своих публичных выступлений. Они поднимали вопросы о том, сохранилась ли в крестьянах «русскость» – то неуловимое исконное качество, которое высшие классы утратили; о том, не является ли крепостное право благом для крестьянства, насколько лояльно их отношение к государству и каковы их религиозные чувства.

Таким образом, в России, как и в других странах, консерватизм и радикализм возникли в результате глубоких, отнюдь не политических по своей сути течений, следовавших по линиям разлома, которые образовались в культуре и мироощущении европейцев; как якобинцы, так и консерваторы использовали новые идеи в своих интересах. Критик самодержавия Радищев обращался к шаблонному образу добродетельного крестьянина для того, чтобы обличать крепостное право, а Глинка с помощью того же штампа идилично изображал взаимоотношения крепостного и его хозяина. И если в Париже массовые сборища привели к свержению власти Бурбонов, то огромная толпа москвичей, собравшихся к приезду Александра I, стала (в описании Глинки) подлинным триумфом династии Романовых. Представление о том, что простым людям открыта суровая жизненная правда, лежало в основе обращенной к санкюлотам пропаганды Марата и Эбера, но также и в основе усилий Ростопчина поднять москвичей на борьбу с Наполеоном. Публичные выступления были инструментом революционной политики, однако Шишков в своих речах отстаивал позиции консервативные. Робеспьер и Сен-Жюст стремились привить людям республиканские добродетели; Стурдза и Голицын хотели с помощью разработанной ими программы образования и цензуры создать утопическое «христианское государство». Для жирондистов международная политика была ареной идеологической борьбы; аналогичные цели преследовали и основатели Священного союза. Между радикалами и консерваторами было столько общего, что радикалы XIX века, как пишет Массимо Боффа, вполне могли бы строить свои программы на основе контрреволюционной теории [Voffa 1989: 98].

Постепенное развитие гражданского общества при Александре I способствовало развитию русского консерватизма и, по сути, сформировало его; он же, в свою очередь, вносил свой вклад в эволюционный процесс. Однако само понятие «гражданское общество» означало в России отнюдь не то же самое, что в других странах. Как пишет Франсуа Фюре, к концу старого режима во Франции под общественным мнением подразумевалась позиция составляющего основу нации сообщества грамотных людей, мыслящих независимо от диктата государства и свободных от классовых предубеждений, имеющих свое мнение по общественным вопросам и даже подвергающих сомнению правомочность королевской власти, при этом способных добиваться консенсуса [Furet 1988: 36]. Непременным условием этой концепции общественного мнения было существование слоя образованных людей – буржуазии и «дворянства мантии», – чья культура и интересы приходили порой в противоречие с системой наследственных прав. В России не было ничего подобного. В Германии, согласно Клаусу Эпштейну, буржуазия была очень немногочисленной, так что немецкое Просвещение заметно отличалось от аналогичного культурного направления в Британии и Франции и было представлено не политизированным средним классом, а преимущественно университетскими профессорами, преследовавшими научные интересы [Epstein 1966: 33–34]. Это было уже больше похоже на то, что наблюдалось в России. Но русские отошли еще дальше от политики и сместили фокус просветительской и вообще интеллектуальной деятельности в сторону эстетики и философии, что придавало их консерватизму своеобразный налет академизма. Нельзя забывать, что образованные россияне,

как правило, владели крепостными либо были государственными чиновниками, – обе группы зависели от государства и не слишком стремились к социальным изменениям. В результате ключевые социально-политические вопросы, разделявшие население Франции или Германии на два лагеря, – судьба гильдий и дворянства, положение женщин и евреев, права официальной церкви и религиозных меньшинств, борьба абсолютизма с аристократическим конституционализмом, проблема автономии провинций, – в России почти не обсуждались. Всему этому, за исключением вопросов о крепостничестве и отдельных правах дворянства, уделялось гораздо меньше внимания, чем таким метафизическим темам, как национальная душа, смысл истории и природа Бога. К тому же вплоть до 1825 года русское государство и русское дворянство служили проводниками общественного прогресса, так что у «просвещенных» россиян не было особого повода испытывать инстинктивную неприязнь к аристократии, какую многие немецкие просветители чувствовали по отношению к правителям своих карликовых княжеств [Schnabel 1948: 106]. Интеллигенция, у которой могло бы сложиться «общественное мнение» о политике, находилась еще в зачаточном состоянии – и, разумеется, впоследствии она переняла академический, интеллектуализированный подход к политике, выработанный ее предшественниками.

Романовы правили не в вакууме. Их деятельность была отчасти обусловлена мнением публики, и очень важно понимать, как работал этот механизм. «Публика» состояла преимущественно из аристократии и поместного дворянства, а также из небольшого числа образованных духовных лиц и купечества. Крестьяне и горожане низкого происхождения практически не общались с «публикой» на культурной почве, хотя войны 1805–1807 и 1812–1814 годов предоставили широкие возможности для преодоления сословных границ. Но в целом «общественное мнение» оставалось мнением высшего общества. Трудность употребления термина «общественное мнение» связана в данном случае еще и с тем, что он подразумевает наличие целостного компетентного сообщества, оперативно реагирующего на все значительные события. Но это представление не соответствует тому, что наблюдалось в то время во всех без исключения странах и тем более в России, с ее этнической неоднородностью, безграмотностью, бескрайними пространствами и цензурой. Даже в среде провинциального дворянства бедная мелкопоместная семья относилась к иной категории, нежели те, кто владел обширными землями и тысячами душ. Тем не менее дворяне разных категорий имели возможность встречаться друг с другом в связи с делами, затрагивавшими всех: государственной службой, управлением крепостными, получением образования; способствовали этому также их вестернизированные культурные интересы и частые разъезды.

При всей своей малочисленности русская «публика» играла исключительно важную роль в политике. Сосредоточенная в основном в двух столицах – Санкт-Петербурге и Москве, – она фактически и *была* государством. Подавляющее большинство руководящих государственных постов и командных должностей в армии, не говоря уже о советниках царя, занимали представители знати. Информация о положении дел в империи поставлялась царю чиновниками из дворян; они же исполняли его приказы. За пределами столиц фактическое управление страной осуществлялось десятками тысяч помещиков. Император был окружен аристократами и разделял их мировоззрение. И наконец, высокое положение знатных особ позволяло им «скинуть» монарха, покушающегося на их интересы, и даже убить его. Такая участь постигла и отца Александра (Павла I), и деда (Петра III). Без политической поддержки высшего дворянства не мог обойтись ни один российский правитель.

Российская «публика» была немногочисленна, но особенно узок был избранный круг наиболее влиятельных фамилий и особ, отличившихся при дворе, на имперской службе или в литературе и искусстве. Эти лица служили важным каналом связи, по которому политические новости и идеи распространялись среди прочей «публики», а ее мнения передавались в обратном порядке правительству. Когда читаешь письма, дневники и воспоминания людей этого

круга, создается впечатление, что все они хорошо знали друг друга или находились в родстве [Лотман 1994: 378]. В результате этой тесной взаимосвязанности идеология становилась лишь одним из многих факторов, определявших отношения между членами элиты. Консерватор и прогрессист вполне могли быть друзьями или даже близкими родственниками, вместе воспитываться и влиять друг на друга. Это единообразие делало политический ландшафт довольно расплывчатым, и расхождения на идеологической почве не проявлялись четко вплоть до восстания декабристов 1825 года.

Тем не менее к концу XVIII века представители высшего класса стали предпринимать решительные меры по формированию общественного мнения, которое было бы основано не только на личных и родственных связях, соседстве, принадлежности к православной церкви и служебных отношениях. Этому процессу способствовало расширение сферы общения посредством печати и сети частных обществ, где дворяне могли заводить знакомства за пределами традиционного круга. Отмена в 1762 году обязательной государственной службы для дворян оставила многих из них без дела, которому они могли бы посвятить свою жизнь, – для некоторых большее значение приобрели такие понятия, как служба на благо отечества вместо безоговорочной преданности монарху, а также личная честь и корпоративная независимость [Raeff 1966: 111; Шмидт 1993:18–20]. К тому же влияние западных идей подорвало авторитет православной церкви как духовного и нравственного лидера и параллельно с этим росло число провинциальных дворян, переселявшихся в город и преодолевавших традиционные ограничения в виде семейных предпочтений и регионального стремления к автономии.

Дворяне обменивались мыслями по тому или иному вопросу через различные официальные и неофициальные каналы. Они встречались в школах, университетах и государственных учреждениях, хотя в этих местах и властям было легче осуществлять свой контроль. Другим официальным средством коммуникации служила печать. Количество выпускавшихся книг и периодических изданий возрастало⁹. Хотя каждая отдельная публикация доходила до небольшого числа людей, в целом влияние прессы было ощутимым. Несмотря на то что политической журналистики в России почти не существовало, а цензура была весьма бдительна, писатели поднимали важные социальные вопросы под видом литературной критики, путевых очерков и морализаторских сочинений. Эзопов язык помогал обойти цензурные препоны. Помимо печатных изданий, в обществе циркулировали неопубликованные сочинения, которые переписывались от руки, так как книг и журналов было все-таки мало и их нелегко было раздобыть. Проще было сделать рукописную копию (пусть даже при этом возникали отличавшиеся друг от друга и от оригинала версии), чем купить книгу – если она была напечатана – или пытаться найти издателя. К тому же при этом произведение не подвергалось цензуре, так что стихи, памфлеты и эпиграммы политически рискованного содержания распространялись тайком в форме «самиздата». Власти пытались время от времени остановить поток этих сочинений и предпринимали карательные меры по отношению к авторам наиболее дерзких из них, но добиться эффективного контроля над этим процессом им не удавалось. Драматурги в своих пьесах также затрагивали злободневные темы, и зрители радостно приветствовали актеров, прохаживавшихся по поводу текущих событий.

Важную роль в формировании общественного мнения играли и общественные мероприятия. Некоторые из них отчасти проводились по определенной процедуре. В России той эпохи создавались первые клубы, где их члены могли пообщаться между собой, сыграть в карты, пообедать; в них, как правило, устраивались читальные залы, предоставлявшие последние выпуски периодической печати. Наиболее значительными из этих заведений, хотя далеко не единственными были Английские клубы в Петербурге и Москве, насчитывавшие по несколько сотен членов. Дворяне встречались друг с другом также и в масонских ложах. Масонство рас-

⁹ См. об этом [Marker 1985].

цвело в России в 1770-е и 1780-е годы, пережило период репрессий, когда Екатерина II заподозрила масонов в подрывной деятельности, и возродилось с новой силой при Александре I. Скрытность масонов, своеобразие их ритуалов и слухи о связи некоторых лож (в особенности мартинистских, наиболее склонных к мистицизму) с Французской революцией создали масонству репутацию опасного бунтарского движения. Тем не менее его духовная основа была притягательной для людей, которые под влиянием западного рационализма разочаровались в православном христианстве, но не утратили потребности в вере; однако и эти духовные поиски рассматривались как признак недостаточной лояльности по отношению к официальной церкви.

Помимо этих организованных групп, существовало неформальное общение дворян – прежде всего в салонах, игравших заметную роль в жизни крупных городов. Салоны регулярно устраивали как видные представители российской элиты, так и иностранные дипломаты, зачастую приглашая в них постоянную публику. Салоны варьировались по степени своего престижа; некоторые из них (например, салон великой княгини Екатерины Павловны, существовавший в Твери в 1809–1812 годы) имели четко выраженную политическую направленность. Практически все петербургские салоны в 1807 году отказали в приглашении наполеоновскому послу, что явилось открытым выражением недовольства по поводу Тильзитского мира.

Салоны, масонские ложи и государственные учреждения служили моделями для других возникавших в то время организаций, имевших политическую окраску. По образцу салона, в частности, в 1810 году была создана «Беседа любителей русского слова», которая стала первой официальной общественной организацией, имевшей целью пропаганду консервативных идей. Начавшиеся после 1815 года конспиративные встречи будущих декабристов продолжили традицию секретности масонских лож. Третий тип публичных собраний, который приобрел особое значение также после 1815 года, воспроизводил структуру и порядки государственных учреждений. Таким было Российское библейское общество (членство в нем считалось чуть ли не обязательным для тех, кто занимал или желал занять высокое положение в обществе). Будучи формально независимой организацией, общество на самом деле являлось наполовину правительственной структурой, с соответствующей иерархией.

В правительство входили те же лица, которые состояли в ложах и посещали салоны, и потому оно обычно было хорошо информировано о мнении публики. Кроме того, оно постоянно прибегало к услугам полицейских осведомителей, а нарушение конфиденциальности почтовых отправок являлось будничным делом, так что люди избегали критиковать монарха в личной переписке. Установился *modus vivendi*, при котором публика выражала свое мнение шепотом и намеками, дабы не провоцировать репрессивных действий со стороны властей, правда власти научились расшифровывать используемые эвфемизмы. Однако, принимая грозный вид для устрашения публики, правительство в то же время прислушивалось к общественному мнению и иногда уступало его требованиям. Разговоры в салонах, самостоятельно выпущенные памфлеты, собрания масонских лож вовсе не были случайной ответной реакцией на усиление авторитарной политики, а служили активным компонентом политического процесса российского самоуправления¹⁰.

Широкая публика смутно представляла себе сущность различных идеологических течений того времени – отчасти из-за особенностей политических процессов, происходивших в России начала XIX века. Достижение высокого положения в обществе зависело не столько от поддержки общественного мнения, сколько от благосклонности и покровительства людей у власти. Возникали прочные связи между влиятельными лицами и теми, кому они оказывали поддержку в обмен на преданность¹¹. Примером могут служить отношения между двумя фигу-

¹⁰ Отношения между просветительской культурой, государством и общественным мнением этого периода всесторонне изучались на примере стран Западной и Центральной Европы. В работе А. ла Вопы [La Vopa 1992: 89–98] анализируются два классических исследования, посвященных этой теме: книги Юргена Хабермаса и Райнхарта Козеллека.

¹¹ О том, как действовала эта система протекционизма, см. [Ransel 1975; LeDonne 1991: 19–21].

рами, игравшими важную роль в истории консерватизма: великой княгиней Екатериной Павловной и Ростопчиным, которых объединяли близость политических взглядов, связи с Павлом I и дружба с Карамзиным. Реальная власть зависела от отношений с правителем и его доверенными лицами, а не от титулов или занимаемой должности. Так, Шишков сменил в 1812 году М. М. Сперанского на посту государственного секретаря, однако не унаследовал его влияния, поскольку не пользовался таким же, как Сперанский, доверием царя. В отличие от него, А. А. Аракчеев с 1821 года фактически самовластно руководил всей внутренней политикой – и не столько благодаря своему высокому посту, сколько потому, что Александр ему доверял. Личные отношения с сильными мира сего лежали в основании всей системы и препятствовали образованию независимых, идеологически сплоченных групп и блоков.

В данном исследовании учитываются личностный характер российской политики начала XIX века и ее взаимосвязь с общественным мнением. За отсутствием реальных партий и четко обозначенных идеологических платформ история политической мысли и практики данной эпохи сводится к выявлению диалектических взаимоотношений между той или иной личностью и ее окружением. Личный опыт различных людей, сформированный под влиянием господствующих в обществе социальных установок, систематизировался и уточнялся, образуя определенные взгляды, которые в совокупности формировали, в свою очередь, взгляды общества в целом. Таким образом, история русского консерватизма с 1800 года по 1820-е – это история жизни различных поколений и их социокультурной среды, которую удобнее всего изучать на примере отдельных фигур, типичных для этого направления и наиболее полно выражающих его коллективную идеологию. Личности, которым в первую очередь посвящена данная работа, – Шишков, Глинка, Карамзин, Ростопчин, А. Стурдза, Р. Стурдза, Голицын, Рунич – оставили большое количество письменных сочинений и очень часто упоминаются в письмах и мемуарах современников, поэтому их жизнь и взгляды можно описать с достаточной достоверностью. Разумеется, выводы об их влиянии на общественное мнение необходимо делать с большой осторожностью, но я полагаю, что значительное количество доступных источников дает неплохое, пусть даже и методологически устаревшее представление о том, как воспринимало общество идеи консерваторов и их деятельность.

И наконец, необходимо сказать несколько слов об историографии консерватизма Александровской эпохи. Существует много научных трудов, созданных до революции 1917 года, – это, в частности, работы пионеров данной тематики А. Н. Пыпина, С. П. Мельгунова, Н. Н. Булича, А. А. Кизеветтера, а также более специализированные исследования Н. Ф. Дубровина, И. А. Чистовича, А. А. Кочубинского, М. И. Сухомлинова, В. Я. Стоюнина и других. Это ценный материал, но методологически устаревший. Сочинения указанных авторов пронизаны страстями предреволюционной эпохи, что делает их – в частности, работы Мельгунова и Кизеветтера – чрезвычайно интересными для чтения, но заставляет усомниться в адекватности их интерпретации событий. Нарисованные авторами образы консерваторов ранней эпохи окрашены впечатлениями, полученными в годы правления Александра III и Николая II; к тому же они и сами не скрывают своего намерения изучать прошлое для того, чтобы оценить настоящее. (Информация об их работах, как и обо всех прочих, использованных в данном исследовании, собрана в списке литературы в конце книги.)

После 1917 года начало XIX века рассматривалось в русской историографии сугубо в контексте роста революционного движения. Советские историки неизменно проводили резкое и зачастую искусственное разграничение между прогрессивными деятелями и реакционерами. Они старательно собирали документы, воссоздававшие славную историю декабристов, а их современников-консерваторов преподносили как бездарей. Поведение элиты эти историки объясняли исключительно внешними факторами (материальными затруднениями, бунтарством крестьян, развитием «буржуазных» экономических отношений), а роль культуры и идеологии недооценивали. Подобный уклон наблюдается даже в работах таких талантливых

ученых, как А. В. Предтеченский и С. Б. Окунь. Последний утверждал, к примеру, что Священный союз был всего-навсего «союзом реакционных правителей для борьбы с прогрессивными идеями, союзом абсолютных монархов для борьбы с революционным движением» [Окунь 1948: 305]. Исключением из этой односторонней трактовки исторических событий стали труды некоторых историков литературы и общественной мысли: Ю. М. Лотмана, М. Ш. Файнштейна, М. Г. Альтшуллера. Недавно изданное Г. Д. Овчинниковым собрание сочинений Ростопчина и написанная В. И. Карпецом в откровенно шовинистическом духе биография Шишкова говорят об убеждении некоторых русских исследователей, что ранний консерватизм дает пищу для размышлений о российских проблемах конца XX – начала XXI веков.

За пределами России консерватизм Александровской эпохи не вызывал особого интереса в научных кругах вплоть до конца 1950-х годов (исключение составляют разве что Эрнст Бенц, Вольфганг Миттер и Александр Койре). Если кто-то из ученых, например Н. В. Рязановский или Анджей Балицкий, и обращался к истории русского консерватизма, то прежде всего ко второй четверти XIX века – к эпохе Николая I. Западные исследователи истории царской России по вполне понятным причинам, связанным с революцией 1917 года и холодной войной, уделяли непропорционально большое внимание изучению революционного движения. Как заметил американский историк Арно Майер, скептически относящийся к консерваторам XIX века, европейских историков, изучающих период между 1789 и 1914 годами, «гораздо больше интересовали силы исторического прогресса и построение нового общества, нежели силы инерции и сопротивления, замедлявшие отмирание старого порядка» [Mauger 1981: 4].

В последние десятилетия, однако, у западных ученых пробудился интерес к русским консерваторам Александровской эпохи (см. работы Дж. Л. Блэка, Э. Г. Кросса, Дж. Флинна, Р. Пайпса, Дж. К. Зачек, С. Уиттейкер, Ф. Уокера и других). Это связано с изменением оценки старых европейских режимов и монархий, восстановленных после Наполеоновских войн, и отказом от схемы, представляющей борьбу «прогрессивных» социальных сил с «реакционными» правителями¹². Эти историки сместили фокус своего внимания с «двойной», по выражению Эрика Хобсбаума (политической и промышленной), революции [Hobsbawm 1962: xv] на культурное развитие и государственное строительство. В данной работе я опираюсь на их исследования и в целом разделяю их взгляды.

¹² См. примеры нового подхода к оценке событий французской и итальянской истории в работах: [Schama 1989: 184–194; Hunt 1992; Furet 1998; Riall 1994: 16–17].

Глава 1

Адмирал Шишков и романтический национализм

Фигура А. С. Шишкова является ключевой для понимания русского консерватизма начала XIX века благодаря тому, что он был характерным и одним из старейших представителей своего поколения, вышедшим из среды вестернизированного служилого дворянства, и приверженцем романтико-националистических идей. Под влиянием травмирующих событий 1789–1805 годов он пересмотрел традиционные воззрения этого социального слоя в свете новейших интеллектуальных веяний эпохи. Разработав оригинальную теорию культурного нативизма, противопоставлявшуюся им социально-политическому реформаторству, Шишков стал одним из зачинателей романтического национализма. Между тем более молодым консерваторам, присоединившимся к этому движению уже после 1789 года, он представлялся кем-то вроде динозавра: в социально-культурном отношении их разделяла целая пропасть. Поэтому жизнь и труды Шишкова яснее чьих-либо еще показывают, с одной стороны, как глубоко был укоренен русский консерватизм XIX века в мире русского дворянства предыдущего столетия, и, с другой стороны, насколько он был этому миру чужд. Шишков также участвовал в популяризации двух фундаментальных для мыслителей правого толка идей: о том, что Просвещение и интеллектуальный космополитизм служили причиной революционных сдвигов и что прогресс культуры должен способствовать сплочению общества, а не развитию индивидуалистического, критического образа мыслей. Россия, утверждал он, должна отвергнуть недостойную традицию вестернизации с ее разъединяющим людей вольномыслием и культурным отчуждением и вернуться к своей подлинной идентичности, воплощением которой была допетровская Русь.



Рис. 1. Дж. Дау (Доу). Портрет А. С. Шишкова. [ОВИРО 1911–1912, 3: 172]

Таким образом, хотя интеллектуальные искания Шишкова указывают на отечественные истоки современного ему русского консерватизма, в то же время он вместе с другими представителями романтического национализма принадлежал и к общеевропейскому движению, которое отвергало ценности старого режима и искало им замену. Некоторые из предлагавшихся ими альтернатив носили консервативный характер, другие – революционный, но как первые, так и вторые произрастали на одной и той же культурной почве. Французская революция также была отчасти результатом протеста против изнеженной аристократической культуры и стремления утвердить суровую «добродетель», идеалы которой смоделировали Жан-Жак Руссо и Бенджамин Франклин. Идея революционной естественности, получившая в то время распространение, опиралась на несколько источников, в том числе на средневековое прошлое, моральную чистоту простых людей и культ героев античности. Революционеры заявляли, что мужественная и добродетельная нация восстанавливает свое право быть хозяйкой

своей страны, ранее узурпированное изнеженными, вырождающимися иноземцами¹³. Наиболее влиятельной фигурой среди романтиков-националистов был, пожалуй, немец Иоганн Готфрид Гердер. Адепты этого направления полагали, что идентичность и историческая роль нации – понимаемой как этническое, а не политическое единство – кроется в ее культурном наследии. Выступая против свойственной Просвещению рационалистической универсализации с французским оттенком, они заявляли, что развитием нации руководят таинственные, подспудные законы, не поддающиеся рассудочному толкованию. Приобщение к душе нации придает жизни человека смысл. Чтобы успешно развиваться, культура должна прежде всего выявить движущие силы своей идентичности и в особенности эмоции, таящиеся в самых дальних и темных закоулках национальной души. Это подразумевало исследование прошлых эпох, в частности Средневековья, когда душа нации проявляла себя со всей своей девственной силой. А для этого надо было изучать национальный язык, передающий неповторимые особенности национального мышления, очищать его от чуждых ему примесей и внимательно относиться к языку социальных низов, сохраняющих языковые традиции в их наиболее чистом виде. Националисты-романтики тех регионов, где доминировала иностранная культура (славяне, норвежцы, греки, немцы, кельты), переняв присущий предыдущему столетию интерес к истории, стремились кодифицировать свой язык, составляли словари, собирали народные сказки и средневековые эпические поэмы. По удачному выражению Эрика Хобсбаума, они «изобретали традицию», чтобы построить на ее основе концепцию национальной идентичности [Hobsbawm, Ranger 1983: 2-14]¹⁴.

Представители всех основных консервативных течений Александровской эпохи во многом разделяли настроения националистов-романтиков. Подтверждением этому могут служить «История государства Российского» Карамзина или вера А. Стурдзы в мессианское предназначение русского народа. Но решительнее всех отстаивал эти идеи в ходе российских культурных дебатов адмирал Шишков. Его деятельность продолжалась семь десятилетий (с 1770-х по 1840-е годы), в течение которых сменились правления четырех монархов, – он стал переходной фигурой, связавшей две различные эпохи. Сторонник самодержавия и крепостного права, он, сам того не желая, подрывал устои и того и другого. Он считал, что политически Россия является частью Европы, но в культурном отношении должна идти своим путем. Шишков был государственным деятелем и мыслителем, что в те годы удавалось совмещать все реже, так как раскол между государством и обществом углублялся [Raeff 1982a: 37]. Патриотизм адмирала и его стремление к совершенствованию общества в сочетании с категорическим неприятием революций сформировали его мировоззренческую позицию – националистическую, реакционную и утопическую. Аналогичные взгляды высказывал в XVIII веке противник вестернизации М. М. Щербатов в сочинении «О повреждении нравов в России» (1786–1787). Но Шишков, в отличие от Щербатова, был романтическим националистом и верил, что традиционные добродетели лучше всего сохранились в России среди крестьян. Однако его восхищение Петром I (не разделявшееся Щербатовым) и Екатериной II свидетельствует, что он был слишком прочно привязан к своим корням – служилому дворянству XVIII века – и принадлежал к поколению, не подготовленному к систематическому философствованию, а потому его нельзя причислить к славянофилам, чьим идейным предшественником он являлся¹⁵.

Александр Семенович Шишков родился, по его словам, 8 марта 1754 года в Москве¹⁶. Его предки по отцовской линии переселились в Россию из Польши в XV веке; сам он, согласно его

¹³ См. [Starobinski 1979: 68–76, 96; Schama 1989: 162–174, 798–799; Hunt 1992: 121, passim; James 1988: 239].

¹⁴ Убедительную точку зрения на романтический национализм высказывает Томас Нипперди в своем весьма интересном исследовании [Nipperdey 1986: 110–125].

¹⁵ О Щербатове см. [Walicki 1975: 21–32].

¹⁶ РО ИРЛИ. Ф. 10. Д. 102. Л. 83 об. Некоторые авторы в качестве даты рождения Шихова называют 16 марта 1753 года. См. [Шишков 1870, 1:1 (примеч. ред.); Goetze 1882: 316].

послужному списку, составленному Морским ведомством в 1780 году, был «российской нации, из дворян, крестьян за собою имеет в Кашинском уезде мужеска полу пятнадцать душ»¹⁷. Ограничивался ли этим весь семейный капитал, или же это была доля, принадлежавшая адмиралу, – неизвестно, как и многое другое, относящееся к первым 35 годам его жизни¹⁸. Тем не менее духовное и интеллектуальное развитие Шишкова служит примером того, как русский дворянин XVIII века, особо не интересовавшийся политикой и в целом, пожалуй, вполне типичный, мог в следующем столетии стать участником консервативного движения.

Семен Никифорович Шишков (отец Александра), его жена Прасковья Николаевна и пятеро сыновей¹⁹, вероятно, проводили каждое лето в провинции, недалеко от города Кашина, расположенного в полутора сотнях верст к северу от Москвы. Это было сердце допетровской Руси, удаленное как от западных пределов государства, так и от пограничных поселений на востоке. Здесь каждый житель принадлежал к Русской православной церкви, а крестьяне издавна были крепостными. Шишковых – если они действительно владели всего лишь пятнадцатью крестьянскими душами – можно отнести к типичным провинциальным дворянам, небогатым, но гордящимся своим давним происхождением²⁰. Иначе говоря, маленький Александр рос в скромной сельской обстановке и, подобно многим отпрыскам дворянских семей, играл, вероятно, вместе с крестьянскими детьми и воспитывался няней, познакомившей его с народными преданиями и культурой²¹.

Родители Александра вырастили способных и деятельных сыновей. Ардалион состоял в членах фешенебельного Английского клуба, то есть, по-видимому, был принят в высших слоях московского общества²². Дмитрий служил в гвардейском Преображенском полку, впоследствии возглавил одну из российских губерний и женился на девушке из знатного рода Толстых²³. Правда, при этом он был не в ладах с грамотой²⁴. Безусловно, Шишковым, как и многим провинциальным дворянам, не хватало столичного блеска, и даже Александр, при своих обширных, хотя и бессистемных знаниях, проявлял в зрелые годы свойственную самоучкам идиосинкратическую манеру ведения дискуссии. Примечательно, что он никогда не писал по-французски (этот навык был отличительным признаком аристократического воспитания). Таким образом, три брата Шишковых сумели пробить себе дорогу в жизни, но сохранили черты, обусловленные их относительно скромным происхождением. О судьбе двух других братьев, Николая и Герасима, ничего не известно, за исключением того, что сын Герасима, согласно некоторым источникам, женился на дочери писателя А. Т. Болотова [Рябинин 1889: 44]²⁵.

¹⁷ РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 7. Д. 17. Л. 1335 об. См. также ст. «Шишковы» [Брокгауз, Ефрон 1890–1907, 78: 615–616].

¹⁸ Об истории написания воспоминаний Шишкова см. [Тартаковский 1991: 197–200].

¹⁹ О семье Шишковых см. [Долгоруков 1854–1857, 4: 221–222]. Однако Долгоруков, по-видимому, не знал о существовании пятого сына, Герасима, указанного в ст. «Шишков Николай Петрович» [Половцов 1896–1918, 23: 320–324].

²⁰ По данным 1719 года, 67,8 % крестьян этого района были крепостными [Kolchin 1987: 30]. В 1777 году у 32 % русских крепостников было менее десяти крестьянских душ, у 30,7 % – от десяти до 30. Встречались, конечно, и такие, кто владел тысячами [Blum 1961:367]. В начале 1800-х годов помещик, у которого насчитывалось менее 20 душ, «считался обедневшим» [Kolchin 1987: 165].

²¹ Об этой стороне жизни дворян см. [Raeff 1966: 122–124].

²² Ардалион был на несколько лет младше Александра, умер же в 1813 году. См. ст. «Шишков Александр Ардалионович» [Мироненко, Нечкина 1988:201–202]. У него осталось четверо детей, и троих из них вырастили бездетные Александр Шишков и его жена.

²³ РО ИРЛ И. Картотека Б. Л. Модзалевского. Карт. 1861; РО ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 2. Д. 3108. Л. 37. Письмо Шишкова к Дарье Алексеевне от 4 мая 1798 г., Дрезден; РО ИРЛИ. Ф. 13. Д. 852. Письмо О. П. Козодавлева к Шишкову от 28 февр. 1813 г., Санкт-Петербург. Долгоруков сообщает, что второй женой Дмитрия была графиня Вера Толстая [Долгоруков 1854–1857, 4: 222].

²⁴ См. письмо Шишкова: РГИА. Ф. 1673. Оп. 1. Д. 250.

²⁵ См. также РО ИРЛИ. Картотека Б. Л. Модзалевского. Карт. 1861; ст. «Шишков Николай Петрович» [Половцов 1896–1918, 23: 320–324].

Судя по всему, Шишковы, подобно большинству мелкопоместных дворян губернии, зимние месяцы проводили в Москве: Александр там родился, и по крайней мере один из братьев, как известно, жил в городе почти все время. В среде московской знати кипела интеллектуальная и культурная деятельность. Вместе с тем древняя столица Руси была цитаделью национального и религиозного консерватизма, в отличие от открытого западным веяниям Санкт-Петербурга, основанного Петром Великим на Балтике [Шишков 1818–1834, 12: 270]²⁶. Москва, вероятно, пробудила в Шишкове склонность к литературному труду и одновременно упрочила патриотический традиционализм, в духе которого он был воспитан, – в том числе возникшее у него еще в юности преклонение перед Петром I и великим русским ученым и поэтом М. В. Ломоносовым. Интерес к серьезным вопросам и народным обычаям и нравам, как и знание литературы, языка и ритуалов православной церкви, были также, по всей вероятности, привиты Шишкову еще в юные годы. С другой стороны, тот факт, что он в 13 лет переехал в Санкт-Петербург, где прожил большую часть жизни, по-видимому, объясняет, почему он проявил впоследствии плохое знание крестьянства. Должно быть, идеализация сельской жизни была следствием его литературных занятий и дорогих ему детских воспоминаний, но непосредственного контакта с крестьянами в зрелом возрасте он почти не имел. Если его личность действительно сложилась под влиянием всех этих факторов, то можно сказать, что он был типичным для того времени дворянином, со скромными средствами, но живым умом, побуждавшим его добиваться успеха на государственной службе. В годы службы возросла горячая преданность Шишкова царице и вместе с тем усилилось недоверие к придворной знати, пользовавшейся незаслуженными привилегиями и богатством и преклонявшейся перед Западом.

Существует мнение, что культурный консерватизм Шишкова развился в основном на русской почве [Стоюнин 1887,1:237–238], однако в формировании его, как и всего русского консерватизма, сказалось и воздействие Запада. Германофильство Шишкова, не ослабевавшее с годами, показывает, что в России XVIII века большую роль играли немецкая культура и историко-филологические науки [Raeff 1967]. Шишков и его семья поддерживали дружбу со знаменитым ученым А. Л. Шлёцером [Шлёцер 1875: 101, 165]²⁷. Вопросы, которыми занимался Шлёцер, – средневековая Русь, церковнославянский язык, культура других славянских народов, – увлекали впоследствии и самого Шишкова [Pohrt 1986: 372]; немецкий ученый, как утверждают, повлиял на его лингвистические теории. Показательно, однако, что обширная библиотека Шишкова содержала всего один том сочинений Шлёцера [Pohrt 1986: 358–374; Коломинов, Файнштейн 1986:65]²⁸, и нет свидетельств того, что его взгляды сложились под прямым влиянием кого-либо из западных мыслителей. Скорее на него воздействовала сама интеллектуальная атмосфера, в создании которой они участвовали.

Долгая карьера Шишкова началась 17 сентября 1767 года, когда он поступил в санкт-петербургский Морской кадетский корпус, дававший образование европейского образца и обучавший кадетов техническим дисциплинам, математике и иностранным языкам. По окончании корпуса он поступил на службу в Военно-морской флот²⁹. Образованный и честолюбивый морской офицер, без колебаний отдавший себя служению идеалам просвещенного абсолютизма, он чувствовал себя как рыба в воде в атмосфере старого режима, чем отличался от более молодых и лучше образованных людей, обладавших беспокойной натурой и более развитым умом, которые заняли консервативную позицию после 1789 года. Шишков с радостью ухватился за воз-

²⁶ О различиях между петербургским и московским обществом см. начало третьей главы данной книги.

²⁷ См. также [Сборник 1867–1916,4:14; Сборник 1867–1916,8:337; Долгоруков 1854–1857: 219–222; Neuschaffer 1975: 400–405; Goetze 1882: 245, 283].

²⁸ Описание библиотеки Шишкова см.: РГИА. Ф. 1673. Д. 1. Оп. 111. Л. 30 об. Шишкову принадлежала книга Шлёцера «Nestor. Russische Annalen in ihrer Slavonischen Grundsprache verglichen, übersetzt und erklärt». Т. 3. Göttingen, 1805.

²⁹ РГАВМФ. Ф. 406. Оп. 7. Д. 17. Л. 1335 об.

возможность познать мир во время зарубежных походов³⁰; он был благочестив, но не фанатичен, патриотически настроен, но открыт другим культурам, аполитичен, но полностью предан ценностям поместного дворянства и чиновничества. В 1780-е годы Шишков преподавал в Морском кадетском корпусе, а затем служил в канцелярии вице-президента Адмиралтейств-коллегии. В 1790 году он участвовал в войне со Швецией; князь П. А. Зубов, командовавший Черноморским флотом, пригласил его на работу в свой штаб, но Шишков не успел занять этот пост, так как в 1796 году умерла Екатерина II³¹.

В 1780-1790-е годы, находясь на государственной службе, Шишков начал одновременно пробовать свои силы на литературном поприще. Он написал пьесу по заказу директора императорских театров [Шишков 1818–1834, 12: 1–32; Шишков 1870, 1: 1–2], переводил с немецкого рассказы и стихи для детей, в XIX веке повсеместно использовавшиеся при обучении детей грамоте [Половцов 1896–1918, 23: 316–320; Стоюнин 1877, 1: 252–253; Боленко 1996], а также сочинял трактаты о морском флоте [Якимович 1985: 55; Половцов 1896–1918, 23: 316–320]. Новый командующий Черноморским флотом адмирал А. С. Грейг одобрял его литературные опыты – как и императрица: Екатерина распорядилась издать некоторые из них за государственный счет. Однако, судя по письмам Шишкова к разным влиятельным лицам с просьбой посодействовать публикации его книг, высокое покровительство имело свои пределы³².

Одним из тех, кто поддерживал Шишкова на этом пути, был адмирал И. Л. Голенищев-Кутузов, директор Морского кадетского корпуса, сам также занимавшийся сочинительством. В его салоне бывали и люди творческих профессий, и сановники [Панченко 1988:200–203]. Кутузов поощрял увлечение Шишкова литературой и повлиял на формирование его патриотических взглядов, ибо, как позднее вспоминал Шишков, он «охотно читал иностранных писателей, но своих еще охотнее. Феофан, Кантемир, Ломоносов, а более всего чтение духовных книг утвердили его в знании отечественного языка»³³. Шишков имел возможность регулярно видеться с Кутузовым на протяжении 35 лет. У обоих были связи с масонством, и Кутузов, вполне вероятно, мог познакомить Шишкова с другими писателями и способствовать его принятию в члены Российской академии в 1796 году. Дружил Шишков и с другими представителями семьи Кутузовых, в том числе с Михаилом Илларионовичем, героем Отечественной войны 1812 года и также масоном [Шишков 1870, 1: 3; Панченко 1988: 200–203]³⁴.

В конце 1780-х годов Шишков поддерживал отношения с Обществом друзей словесных наук [Семенников 1936]³⁵, которое было основано масоном М. И. Антоновским и, как говорили, насчитывало десятки, если не сотни членов. С этим обществом были также связаны имена мистика А. Ф. Лабзина, двух будущих президентов Российской академии (Шишкова и А. А. Нартова), а также писателей и поэтов Г. Р. Державина, И. И. Дмитриева, И. А. Крылова, А. Н. Радищева. Кроме того, в общество входило много морских офицеров, бывших, подобно адмиралу Грейгу, полноправными членами масонских лож; их взгляды свидетельствовали об их знакомстве с языками и культурой разных стран. Таким образом, Шишков занимался творчеством в среде, где пересекались служба во флоте, литература и масонство.

Общество друзей словесных наук выступало за социальный консерватизм, гуманное обращение с крепостными и религиозную мораль, подвергая при этом критике православную

³⁰ Описание кораблекрушения в Швеции см. в [Шишков 1818–1834, 12:314–327]. О плавании по Средиземному морю см. [Шишков 1834; Русский путешественник 1897].

³¹ РГИА. Ф. 1673. Оп. 1. Д. 2. Л. 1 об-2.

³² См. копии писем Шишкова к П. А. Зубову, А. Г. Орлову-Чесменскому и П. А. Румянцеву-Задунайскому: ОР РНБ. Ф. 862. Д. 3. Л. 78–81.

³³ РОИРЛИ. Ф.265. Оп.2. Д. 3109.

³⁴ См. также РО ИРЛИ. Ф. 358. Оп. 1. Д. 149. Л. 4–5. Письмо Шишкова к Е. И. Кутузовой от 2 февраля 1813 года, Кладово; [Аксаков 1955–1956, 2: 287].

³⁵ В 1780–1781 годах Шишков был также почетным членом масонской ложи [Вакошине 1967: 534–535].

церковь. Иначе говоря, это была программа нравственного воспитания, носящая экуменический характер. Связь Шишкова с обществом длилась, судя по всему, по крайней мере до 1790 года; впоследствии он стал критиковать масонство и защищать церковную иерархию. Масоны были против заимствований из иностранных языков, и Шишков впоследствии подхватил их почин в своей кампании за чистоту русского языка – его будущий противник в области литературы Карамзин уже в конце 1780-х и начале 1790-х годов подвергался критике со стороны масонов. Карамзин (как и Антоновский) был учеником Н. И. Новикова, одного из лидеров масонского движения, но затем по идеологическим причинам их пути разошлись. Нападки на Карамзина были характерной особенностью атмосферы, в которой сформировались литературные взгляды Шишкова, и многие аргументы, к которым он впоследствии прибегал, он позаимствовал у масонов³⁶.

Масонство играло важную роль в культуре российской аристократии. Оно обладало налетом эгалитарности и не контролировалось напрямую государством, тем самым бросая вызов бюро-кратически-абсолютистскому аппарату с его жесткой иерархической системой. О его значении в формировании общественного мнения (все еще «предполитического») говорит хотя бы тот факт, что в масонской среде лидеры основных консервативных течений начала века (националист-романтик Шишков, поборник дворянского консерватизма Карамзин и религиозный консерватор Лабзин) могли общаться не только между собой, но и с таким радикальным критиком общественного уклада, как Радищев. Всех их объединяло утвердившееся в XVIII веке убеждение, что ключом к социальному прогрессу является «добродетель», однако они расходились друг с другом, обращаясь к политической реальности, где понятие «добродетель» могло означать совершенно разные вещи. Екатерина II относилась к масонам с недоверием. Их тайные эзотерические ритуалы казались ей шарлатанством; к тому же она подозревала масонов в связях с пренебрегаемым ею сыном Павлом и с прусским двором – ее соперником на европейской арене. В результате ее сановники в конце 1780-х годов не давали покоя московским розенкрейцерам. Однако серьезные гонения на масонов, как и назревавшие внутри самого движения разногласия между ложами, начались лишь с обострением международной обстановки в Европе во время Французской революции. Боясь, что они развернут вредоносную деятельность, Екатерина велела арестовать ведущих масонов и упрятать их за решетку [Madariaga 1981: 521–531].

В начале 1780-х годов Шишков написал стихотворение «Старое и новое время», показывающее, что из просветителя-морализатора он превратился в романтика-националиста. Это произведение, первое из его дошедших до нас высказываний об обществе и истории, предваряет его будущую идеализацию допетровской Руси как эпохи, когда жизнь была лучше, а нравственность выше – мотив, звучавший в то время, помимо всего прочего, и в морализирующем учении франкмасонов [Moppier 1979: 268–269, 272]. Однако идиллическое «прошлое» в этом стихотворении предстает как вневременное русское качество, свободное от европейских влияний: в отличие от подчеркнутого историзма его более поздних сочинений, здесь Шишков еще не пытался привязать утопию к определенному историческому моменту³⁷. Впоследствии он в том же духе идеализировал правление Екатерины II, хотя и при ее жизни уже испытывал ностальгию по канувшему в прошлое золотому веку. Эпоха Просвещения обострила его нравственное чувство: еще ребенком он привык отождествлять сельскую жизнь с высокой нравственностью и был шокирован ее полным отсутствием в официальном Петербурге, где он провел большую часть жизни. Отсюда возникла его излюбленная идея о русской «традиции», сложившаяся из его детских воспоминаний, литературных опытов, патриотических чувств и категорического неприятия светского общества. Однако он не страдал ксенофобией: россий-

³⁶ См. [Cross 1971: 58–60; Семенников 1936; Панченко 1988: 35–37; Лотман, Успенский 1975: 181–182, 194].

³⁷ Анализ стихотворения см. в [Альтшуллер 1984: 37–38].

ская столица с претящими ему грехами никак не была «Западом», а его любовь к классической культуре, к Швеции, Германии и Италии, как и его женитьба на лютеранке, доказывают, что он не видел в Европе врага. Он верил в абсолютную ценность «традиции», которую каждая нация должна найти в собственном прошлом; иностранная культура представляет угрозу лишь в том случае, если она пагубно влияет на базовые российские ценности. В этом он был единомышлен со многими романтическими националистами, которые вслед за Гердером полагали, что в Европе не возникало бы международных конфликтов, если бы каждая страна неукоснительно следовала своему собственному неповторимому предназначению [Nipperdey 1986: 120].

К началу 1790-х годов Шишков занимал заметное, хотя и не очень высокое положение в официальной иерархии. В Табели о рангах он достиг седьмого класса (флотский аналог подполковника), а его служба под началом адмирала В. Я. Чичагова во время войны со Швецией привлекла в 1790 году внимание самой императрицы. Чичагов и И. Кутузов составили Шишкову очень ценную протекцию, как и друг Шишкова, адмирал Н. С. Мордвинов³⁸. Кутузов и другие франкмасоны ввели его в литературные круги, где Шишков внес свой первый скромный вклад в общее дело.

Между тем старый, стабильный мир Шишкова рушился. В то время как революционные войска Французской республики громили армии европейских монархов, смерть Екатерины привела к власти одиозного Павла, а его убийство, в свою очередь, – к коронации его сына, опасного реформатора. Шишков чувствовал себя стариком, переставшим что-либо понимать в окружающей действительности. Сначала он был растерян и сердит, а затем исполнился решимости вернуть перевернутый вверх ногами мир в нормальное положение. Однако при этом он выработал идеологию, помимо его воли подрывающую те самые основы старого режима, которые он хотел защитить.

Казнь французской королевской семьи возмутила Шишкова как поборника морали и монархиста. Он гневно писал:

Но там покою быть не можно,
Где рушен Божеский закон,
Где царский погран скиптр и трон,
Где сам монарх, сердца злыми,
Как древних мученик времен,
Со всеми ближними своими
Лежит злодейски убиен.

Россия, к счастью, еще благоденствовала под мудрым руководством Екатерины:

В любви к царю и Богу тая,
Какой народ толико лет
Спокойны годы провождая
В толиком счастья цветет?
.....
Счастливейший из всех племен,
Не знаешь пагубных премен...

[Шишков 1818–1834, 14: 143–154]³⁹.

³⁸ РГИА. Ф. 1673. Оп. 1. Д. 2. Л. 1 об.-2; [Шишков 1870, 1: 5–6].

³⁹ Стихотворение написано в 1794–1796 годах.

На фоне революционных событий во Франции екатерининская Россия выглядела островом здравомыслия и благопристойности, и неожиданная смерть императрицы ошеломила Шишкова. «Российское солнце погасло! – писал он впоследствии. – Кроткое и славное Екатерино царствование, тридцать четыре года продолжавшееся, так всех усыпило, что, казалось, оно, как бы какому благому и бессмертному божеству порученное, никогда не кончится». Беспорядок в Зимнем дворце на следующий день, деморализованные придворные и гвардейцы привели его в смятение. «Перемена сия была так велика, что не иначе показалась мне как бы неприятельским нашествием». Приближенные Екатерины были вскоре заменены «людьми малых чинов, о которых день тому назад никто не помышлял, никто почти не знал их». Шишков наблюдал за воцарением нового императора с опаской, ибо успел уже однажды навлечь на себя его немилость. «День ото дня возрастающие строгости, приказы, аресты и тому подобные, неслыханные доселе новизны так меня устрашали, что я с трепетом ожидал своей участи» [Шишков 1870, 1:9-11].

Приход Павла к власти стал водоразделом в мировосприятии Шишкова. Екатерина II вззошла на трон, когда ему было восемь лет, и ему трудно было представить себе жизнь без нее. Он с нежностью вспоминал ее уважительное отношение к своим слугам, почтение, которое она оказывала заслуженным сановникам, ее готовность прощать ошибки, сделанные неумышленно, нежелание ущемлять права честных чиновников, которым не хватало светского лоска или образованности. Шишков восхищался ее преданностью идее русской национальной идентичности и считал ее воплощением имперского величия, благодетельства и добродетели. И этот взгляд разделяли все дворяне его поколения. Как пишет биограф царицы, «те, кто помнил правление Екатерины, отзывались о нем как о времени, когда самодержавие было “очищено от пятен деспотизма”, уступившего место монархии, при которой люди повиновались не из страха, а потому, что это было для них делом чести» [Madariaga 1981: 588]⁴⁰.

Павлу было далеко до этого образца. Организованные мстительным сыном нелепые похороны Екатерины, сопровождавшиеся изъятием останков ее мужа, как и любовь Павла ко всему прусскому (еще один реверанс в сторону отца), глубоко огорчали Шишкова. Пренебрегая доброй памятью о Екатерине и чувством собственного достоинства подданных, новый император унижал служивших ему людей, назначал их по своему капризу на ту или иную должность и мог беспричинно разжаловать; военные мучились при нем из-за неудобной формы прусского образца и навеянного все той же Пруссией пристрастия Павла к бессмысленной муштре. Сановники высшего ранга безо всяких оснований могли быть уволены; их место занимали выскочки вроде Аракчеева, Ростопчина и И. П. Кутайсова [Шишков 1870, 1: 13–21].

Опасения Шишкова за свою судьбу не сбылись. Его повысили в должности – возможно, благодаря его связям при дворе, а также он продвинулся вверх в иерархии помещиков, поскольку был пожалован 250 душами в своем родном Кашинском уезде [Шишков 1870, 1: 11, 22, 26]⁴¹. В 1797 году Павел даже назначил его эскадр-майором, но Шишкову быстро надоело выполнять мелкие поручения вспыльчивого монарха и терпеть его стремление соблюдать во всем военный порядок. Постепенно и царь охладел к нему, что вполне устраивало Шишкова: «Мое желание было от него поудалиться, дабы, по крутости нрава его, вдруг не попасть в немилость, сопровождаемую гонениями, как то уже со многими случалось» [Шишков 1870, 1: 36–42].

⁴⁰ См. также ОР РНБ. Ф. 862. Д. 4. С. 20–79, 97–104.

⁴¹ В 1840 году Шишкову принадлежали деревни Бежецкого уезда Маркова, Осташкова, Бори и Ручейка с населением около 500 мужских душ. Этот уезд, соседствующий с Кашинским, был, возможно, выделен из него в отдельную административную единицу после того, как Шишкову пожаловали крепостных (см. РГИА. Ф. 1673. Оп. 1. Д. 5. Л. 12). В 1834 году всего 3 % русских крепостников имели более пяти сотен крестьян, 84 % владели одной сотней или меньшим количеством, так что Шишков был богатым человеком. Разумеется, его нельзя было сравнить, скажем, с графом Н. П. Шереметевым, которому принадлежали 185 610 крепостных мужского и женского пола [Blum 1961: 368, 370].

Шишков неприязненно относился к императору, ненавидел Французскую революцию и любил русскую литературу, но эти чувства, хотя и отличались от его раннего, безоблачного и аполитичного монархизма, еще не сложились к этому моменту в страстную антифранцузскую идею славянской идентичности России, которая овладеет им позже. Это ясно видно из писем, посылавшихся им домой во время первой длительной поездки по Центральной Европе, куда Павел послал его по делам [Шишков 1870, 1: 43–46, 49–52]⁴². Шишков впервые познакомился с другими славянскими странами, но их культура не вызвала у него почти никакого отклика⁴³; он без тени сомнения украшал свои письма галлицизмами, которые вскоре станут для него символом всех зол, ополчившихся против России. Зато ему очень понравились немцы. Для них, казалось ему, не существовало ничего, кроме заботы о соблюдении морали и традиций, они не стремились к каким-либо политическим переворотам – все это импонировало Шишкову и как романтику, и как консерватору. Его восхищение немцами и глубокое отвращение ко всему французскому⁴⁴ были его реакцией на европеизацию России, и события 1790-х годов усилили в нем эти чувства. Идеология просвещенного абсолютизма и связанные с ней начинания, как и культурное влияние Шлёцера и других немцев, роднили Россию в сознании Шихкова с немецкой традицией, в то время как аристократическая утонченность и неприятный ему скептицизм – не говоря уже о якобинской угрозе – имели французское происхождение.

В царствование Павла Шишков быстро поднялся по служебной лестнице и стал вице-адмиралом (что соответствовало третьему классу в Табели о рангах) – во-первых, потому, что служил при дворе, где своенравный император в мгновение ока создавал и ломал карьеры, а во-вторых, благодаря своим способностям, целеустремленности, доброжелательности, честности и умению лавировать между подводными рифами придворных интриг. Но раболепие было ему несвойственно, а присущая ему от природы осторожность сочеталась с приобретенным при Екатерине убеждением, что можно быть лояльным подданным и при этом отстаивать свои принципы⁴⁵. Теперь он принадлежал к тому кругу, который Джон Ледонн называет «правлящей элитой». Высокий чин и соответствующий социальный статус Шихкова не только давали ему возможность занимать ответственные государственные посты, но и придавали весомость его идеям по вопросам культуры [LeDonne 1993: 141–142]⁴⁶. Его продвижение по службе и его влияние в интеллектуальной среде дополняли друг друга и способствовали успеху в обеих сферах – Шишков пришел к заключению, что в области интеллектуального труда строгая иерархия чинов так же важна, как и при дворе или на флоте.

Однажды в марте 1801 года кто-то постучал к нему в дверь среди ночи. Когда слуга объявил ему, что пришел фельдъегерь, Шишков решил, что это арест. Как адмирал писал позже, он сказал жене: «Прости! Может быть, я не возвращусь». Оказалось, однако, что морской офицер пришел сообщить ему о смерти Павла и о том, что Шишков должен явиться в Адмиралтейство, чтобы присягнуть на верность Александру I. Лояльный монархист Шишков был потрясен. «Признаюсь, – вспоминал он, – что, хотя с одной стороны благодарность за благодеяния [Павла] ко мне и рождала в сердце моем печаль и сожаление, – но с другой – освобождение от беспрестанного страха, в каком я и почти всякий находился, смешивало печаль сию с некоторою невольною радостью» [Шишков 1870, 1: 79]. Он невольно сравнивал заговор против Павла со свержением Петра III и отметил, что никто не плакал на похоронах царя. Похоже, эта

⁴² См. также РО ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 2. Д. 3108. Л. 8–11, 15–18, 31–37. Письма Шихкова к Дарье Алексеевне от 11 января 1798 года, Вена, и от 3 февраля, 25 марта и 4 мая 1798 года, Дрезден.

⁴³ См. РО ИРЛИ. Ф. 265. Оп. 2. Д. 3108. Л. 5 об., 8–11. Письма к Дарье Алексеевне от 20 декабря 1797 года, Вильна, и от 1 января 1798 года, Вена.

⁴⁴ Еще в 1777 году, увидев граффити на французском языке, «украшавшие» стену греческого храма, он воспринял это как доказательство природной испорченности французов [Шишков 1834: 29].

⁴⁵ См., например, [Шишков 1870, 1: 63–66].

⁴⁶ См. также [Марасинова 1991: 23; Torke 1971: 466].

церемония не вызвала слез и у него самого; его стихотворное приветствие новому императору было абсолютно искренним:

С ним правосудие воссядет на престол;
Любя отечество, храня его покой,
С Екатериной великою душой,
Он будет новый Петр и на суде и в поле.

[Шишков 1818–1834, 14: 177]

Шишков надеялся, что Александр будет верен своему обещанию править в духе Екатерины⁴⁷; он одобрял первые шаги императора, подошедшего к формированию правительства не столь грубо и произвольно, как Павел. Вернулись екатерининские вельможи, которые, как считал Шишков, должны будут руководить молодым и впечатлительным наследником Павла и побуждать его идти по стопам своей бабки. Но «екатерининские старики», вспоминал он, упустили свой шанс: пока в первые решающие дни после свержения тирана они праздновали это событие, Александр собрал группу молодых советников – так называемый Негласный комитет, при котором «старикам» было бесполезно пытаться что-то сделать⁴⁸.

Адмирал, естественно, с презрением относился к Аракчееву, Кутайсову и другим карьеристам, переселившимся когда-то вместе с Павлом I из Гатчины в Зимний дворец. Однако его неприязнь к друзьям Павла не шла ни в какое сравнение с негодованием, которое вызывали в нем Адам Ежи Чарторыйский, П. А. Строганов, Н. Н. Новосильцев и другие доверенные лица Александра. Поскольку публика плохо представляла себе, что творилось в коридорах власти, Шишков, как и многие другие, подозревал (разумеется, напрасно), что Негласный комитет готовит в России изменения по образцу случившегося во Франции в 1789 году⁴⁹. Он считал, что люди тех социального типа и поколения, к которым принадлежали александровские советники, испорчены образованием иностранного образца до такой степени, что традиционные понятия, составлявшие основу основ русского общества, – скромность, патриотизм, Бог, здравый смысл, уважение к старшим и предкам, – ничего не значат для них. Люди старшего поколения, замечал он с горечью,

...должны были умолкнуть и уступить новому образу мыслей, новым понятиям, возникшим из хаоса чудовищной Французской революции. Молодые наперсники Александровы, напыщенные самолюбием, не имея ни опытности, ни познаний, стали все прежние в России постановления, законы и обряды порицать, называть устарелыми, невежественными. Имена вольности и равенства, приемлемые в превратном и уродливом смысле, начали твердиться пред младым царем, имевшим по несчастию наставником своим француза Лагарпа, внушавшего ему таковые же понятия [Шишков 1870, 1: 81–86].

Вдобавок ко всему новые руководители проявляли такое же неуважение к старшим по чину и возрасту, как в 1796 году приятели Павла I. Очень скоро Шишков разочаровался в политике Александра I: «Павлово царствование, хотя и не с такою строгостью, но с подобными же иностранцам подражаниями и нововведениями еще продолжалось» [Стоюнин 1987, 2: 502–503].

⁴⁷ См. [Шильдер 1897, 2: 6].

⁴⁸ В 1801 году сложилось две партии – екатерининских сановников и молодых друзей. Они боролись друг с другом и друг друга нейтрализовали. – *Примеч. М. Б.*

⁴⁹ Александр I и сам в шутку называл своих советников «Комитетом общественного спасения». См. ст. «Кочубей Виктор Павлович» [Половцов 1896–1918, 9:371].

Отношения с Александром, поначалу хорошие, испортились. Адмирал продолжал докладывать царю о положении во флоте, но к концу 1801 года Александр заметно охладил к нему [Шишков 1870, 1: 40]⁵⁰. Шишков не одобрял проведенное в 1802 году преобразование государственных коллегий в министерства как излишнее отклонение от разумного курса, избранного Петром I и Екатериной II. К этому времени столетний период, предшествовавший 1796 году, стал представляться ему квинтэссенцией политической традиции, которую надо было оберегать от каких бы то ни было изменений. Его собственный подъем при дворе застопорился, как он считал, из-за интриг адмирала П. В. Чичагова (сына бывшего командира Шишкова – В. Я. Чичагова), к которому благоволил Александр. В конце концов отношения между двумя адмиралами наладились, и в 1805 году Шишков был назначен директором Адмиралтейского департамента Морского министерства. Однако император по-прежнему недолюбливал его [Коломинов, Файнштейн 1986:44–45; Шишков 1870,1: 87–95].

Позиция, занятая Шишковым на этом переходном этапе, отличалась двумя особенностями, определившими его дальнейшую деятельность. Во-первых, Александр I не оправдал его надежд, поскольку перенял многие характерные черты Павловской эпохи и одновременно брал пример с зарубежных вольнодумцев. В свое время Шишкова приводил в отчаяние тот факт, что Павел следует по стопам своего отца, подражая прусскому милитаризму. Шишков нигде не писал об этом прямо, но было ясно, что Павел, в противовес Французской революции, хочет распространить в России дух средневековых рыцарских орденов. Связь Павла с католическим Мальтийским орденом, архитектура его Михайловского замка – все говорило о том, что атмосфера, в которой живет царь, не русская. Александр не испытывал тяги к Средневековью, но унаследовал от отца расположенность к Пруссии, окружил себя советниками-англоманами и собирался реформировать Россию на западный лад, к чему Шишков относился с крайним недоверием. Он восхищался тем, что Петр I и Екатерина II сумели добиться своего, опираясь на европейский опыт, но сохранив русскую национальную идентичность. Ни Павел, ни Александр не были на это способны, и Шишков стал сомневаться в возможности использования европейских моделей для русского общества [Эйдельман 1982: 71–85; Шишков 1818–1834, 2: 462].

Во-вторых, на Шишкова, возможно, повлияли изменившиеся обстоятельства его службы во флоте. Он приближался к пятидесятилетнему возрасту (который в то время считался преклонным), и в сочетании с неудовлетворительным здоровьем это делало маловероятным, что он сможет, как и прежде, выходить в море. По-видимому, он ощущал необходимость переоценки ценностей в своей жизни. Хотя живой интерес ко всему связанному с морем в нем не угас [Жихарев 1989, 2: 266–313]⁵¹, это было не единственным его увлечением. Должность личного адъютанта Павла, вершина его карьеры, так угнетала его, что он с радостью с ней распрощался. Назначение Шишкова главой Адмиралтейского департамента освободило его от тягот придворной службы, но поставило в служебной иерархии все-таки ступенькой ниже, а его натянутые отношения с молодым энергичным монархом не сулили в ближайшее время продвижения вверх.

Два этих обстоятельства побудили его обратиться ко второму занятию, привлекавшему его всю жизнь, – литературе. Пертурбации в окружающем мире, остановка карьерного роста и, возможно, мысли о скоротечности земного бытия вызывали у него чувство глубокой неудовлетворенности. Он находил отдушину в своем творчестве, где литературные и филологические темы, всегда интересовавшие его, сочетались с размышлениями о традиционном социально-политическом укладе и нравственных ценностях, над которыми, по его мнению, нависла угроза. Если рассматривать эти две стороны его творчества по отдельности, то можно сказать,

⁵⁰ О том, что новый царь вызывал недовольство Шишкова, см. также [Al'tshul-ler 1982].

⁵¹ Запись 10 марта 1807 года. В библиотеке Шишкова имелось много книг на морские темы: РГИА. Ф. 1673. Оп. 1. Д. 111.

что его филологические изыскания выглядят непродуманно и некомпетентно, а политические рассуждения – слишком упрощенно. Вместе же они представляют собой неуклюжую попытку человека ушедшей эпохи бороться с изменениями в обществе с помощью нового, непривычного для него оружия. Однако благодаря убежденности, с какой Шишков отстаивал, пускай и неловко, свои идеи, он все же занял определенное место в русской истории.

Дилетантские, но настойчиво пропагандируемые теоретические построения Шишкова сложились под влиянием его опыта государственной службы, который убедил его в том, что незнакомые проблемы можно решить с помощью здравого смысла, что чин придает весомость идеям человека и что отвлеченное философствование не приносит пользы, так как ответы на все главные жизненные вопросы дают религия и традиция. Такая установка, идеально подходившая для управления империей, выглядела странно и архаично в глазах постепенно повышающей свой профессионализм литературной элиты, на чью территорию вторгся в качестве любителя Шишков. Литераторы более молодого возраста, которым мы обязаны основной информацией о нем, считали адмирала чудаковатым пережитком ушедшей в прошлое, наивной доцивилизованной эпохи. Эти черты его личности проявляются и в его сочинениях, стиль которых представляет резкий контраст с произведениями консерваторов младшего поколения: мелодраматической интроспекцией Глинки, элегантной самокритичной сдержанностью Роксандры Стурдзы, идеологической воинственностью ее брата Александра или заносчивостью и хвастовством Ростопчина. Шишков, в отличие от них, демонстрировал бесхитростную уверенность в себе, чрезмерную серьезность в обсуждении «коренных» теоретических вопросов и поразительную откровенность⁵². В его частной жизни простота, свойственная служилым людям, и естественное желание познакомиться с иностранной культурой сочетались с эксцентричностью пожилого человека, с запозданием открывшего для себя «дело всей жизни» и захваченного навязчивыми идеями. Шишков целиком погрузился в церковнославянские тексты, рассеянно воспринимая окружающий мир, что стало мишенью постоянных шуток⁵³. Он был женат на Дарье Алексеевне Шелтинг⁵⁴, вдове, внучке голландского адмирала, служившего при дворе Петра I. Их брак оказался счастливым: она вела хозяйство, адмирал (который «жил самым невзыскательным гостем в собственном доме») предавался своим фантазиям, которые она со снисходительной улыбкой называла «патриотическими бреднями» и не принимала всерьез, так как они не находили применения в их доме [Аксаков 1955–1956, 2: 279]. Она была лютеранкой и не меняла веры, наняла для воспитывавшихся у них племянников французского гувернера и говорила с мальчиками и гостями по-французски даже в присутствии мужа.

Шишков отстаивал свои убеждения с почти маниакальным упорством, и в этом тоже сказывалось влияние культуры XVIII века, с ее незамысловатой моралью и привычкой к откровенному безапелляционному утверждению своей правоты: ему была чужда несообразная комбинация изоциренного скептицизма и трусливого конформизма, ставшая обычным делом при Павле I и его сыновьях. Он вызывал невольное уважение даже у своих критиков. Так, П. А. Вяземский, вспоминая Шишкова в совершенно иной атмосфере 1840-х годов, писал, что тот был «и не умный человек, и не автор с дарованием, но человек с постоянною волею, с мыслию, *idee fixe*, имел личность свою, и потому создал себе место в литературном и даже государственном нашем мире». Вяземский считал, что в России «люди эти редки, и потому Шишков у нас все-таки историческое лицо» [Вяземский 1878–1896, 9: 195].

Филологические воззрения Шишкова можно вкратце обобщить следующим образом. Его любовь к русской литературе, знание литературы зарубежной и работа над морскими

⁵² Обзор русской мемуарной литературы XVIII и начала XIX веков см. в работах: [Тартаковский 1991; Крючкова 1994].

⁵³ О личных чертах Шишкова см. [Аксаков 1955–1956, 2: 266–313; Goetze 1882; Пржецлавский 1875; Вигель 1928, 1: 199]. Карамзин высказал мнение о нем в письме от 1 февраля 1816 года: «Шишков честен и учтив, но туп» (цит. по: [Кочубинский 1887–1888: 238, примеч. 1]).

⁵⁴ Д. А. Шелтинг родилась в 1756 году. См. РО ИРЛИ. Картотека Б. Л. Модзалевского. Карт. 1821.

словарями возбудили в нем глубокий интерес к языкознанию. Это увлечение отражало его типично романтическое представление о том, что гений народа проявляется в особенностях его языка. В частности, Шишков полагал, что каждый язык вырабатывает свой собственный способ модификации существующих в нем слов для передачи новых значений. В исходных словах, как и в образованных от них, хранится, по его мнению, историческая память уникального духа и сознания народа. Поэтому он пытался постичь русскую душу, разрабатывая систему этимологических «деревьев», у которых из единого «корневого» слова вырастает «ствол», дающий много «слов-ответвлений». Как снисходительно заметил дореволюционный ученый Сухомлинов, Шишков «свободно разгуливал в созданном его воображением филологическом лесу, извлекал из него и корни и деревья слов, ломал и пересаживал их по своему произволу в наивной уверенности, что труды его принесут обильные и в высшей степени полезные плоды» [Сухомлинов 1874–1888, 7: 206]⁵⁵. К сожалению, подобно другим лингвистам того времени (а он к тому же не имел соответствующего образования), он не учитывал исторического и культурного контекста и тех существенных изменений, которые претерпел русский язык за предшествующие 900 лет, и рассматривал его как некую статичную внеисторическую данность⁵⁶. Вместо того чтобы изучать историческое развитие языка, Шишков изобрел этимологию, исходящую из предпосылки, будто слова, близкие по звучанию и значению, должны быть родственными. Так, он утверждал (вызывая немало насмешек), что наречия «широко», «высоко» и «далеко» складываются из существительных «ширь», «высь» и «даль», к которым добавлено «око» [Сухомлинов 1874–1888: 204–205; Кочубинский 1887–1888: 28]⁵⁷. Кроме того, он полагал, что церковнославянский язык является предком всех современных⁵⁸, что его использование православной церковью было predeterminedено свыше⁵⁹ и что современный русский язык является лишь разговорной формой церковнославянского. Этот тезис Шишков отстаивал с пеной у рта. «Он становился фанатичным, – писал один из его друзей, – только в тех случаях, когда кто-либо отказывался признать, что церковнославянский язык идентичен современному русскому» [Goetze 1882: 284].

Развивая эти теории, Шишков тем самым присоединился к бушевавшим в то время спорам об основных чертах русской истории и культуры, в результате которых в 1820–1830-е годы сформировался русский литературный язык. Эти споры явились своего рода репетицией дебатов между западниками и славянофилами, развернувшихся в 1840-е годы и также затрагивавших вопросы российского государственного устройства, традиций и самосознания. Подобно западникам и славянофилам, поборники нового и старого языкового «слога», как тогда выражались, имели за плечами образование западного образца и надеялись преодолеть культурный разрыв между разными социальными слоями [Шмидт 1993: 26]. Как в том, так и в другом случае спорящие стороны стремились объединить европеизированную культуру с русскими традициями и освободиться от опеки государства в этой сфере.

Русская лингвистическая мысль претерпела коренные изменения в течение XVIII века. Ранее два разных языка – церковнославянский и русский – сосуществовали (первый применялся на письме, второй – только в устной речи) и при этом считалось, что они образуют

⁵⁵ См. также [Кочубинский 1887–1888: 28].

⁵⁶ Шишков был одним из первых представителей сравнительно-исторического языкознания, имевшего основополагающее значение для романтического национализма, но в ту пору еще только зарождавшегося и остававшегося заповедником академических умов, но никак не дилетантов. См. [Anderson 1991].

⁵⁷ Между тем в данном случае осмеянная многими этимологическая теория Шишкова оказывается, по всей вероятности, верной. См. [Чердаков 1996: 38]. В целом более близкие нам по времени ученые – Альтшуллер, Лотман, Файнштейн, Чердаков – отзываются о лингвистических и литературных трудах Шишкова более доброжелательно, чем такие дореволюционные авторы, как Сухомлинов и Кочубинский.

⁵⁸ См., например, письмо Шишкова к чешскому филологу Вацлаву Ганке от 28 апреля 1823 года [Шишков 1870, 2: 392].

⁵⁹ Замечание Свербеева, друга Шишкова [Чистович 1894: 241].

единую языковую систему⁶⁰, что попадает под определение диглосии. Московская культурная традиция рассматривала письменный церковнославянский язык как «высшую» форму этой системы, а современный разговорный русский – как «низшую». Однако со времен Петра I русский язык постепенно завоевывал статус письменного, и это превращало диглоссию в ярко выраженный билингвизм: ранее чисто разговорный русский язык, систематизируя свой грамматический строй и расширяя словарный запас, становился функциональным эквивалентом церковнославянского, который в результате утратил свой статус единственного средства образцового и выразительного официального письменного общения и безнадежно устарел в качестве живого светского языка.

Тем не менее отношение к языку, привитое диглоссией, продолжало существовать в умах. Благодаря тому что светская русская литература сознательно создавалась по западным моделям (вначале посредством переводов), зарубежные влияния принизили роль церковнославянского языка в общем языковом строе. Как и прежде, утонченная выразительность связывалась не с «родным» языком (разговорным русским), а с «чужим» (не важно, церковнославянским или французским). Заимствования из европейских языков расширяли лексический диапазон устной речи, тогда как славянизмы подчеркивали формальный тон письменных текстов и придавали им весомость. Чтобы перевести зарубежную литературу с ее незнакомой лексикой на русский язык, который отличался бы от повседневного разговорного, переводчики обращались к церковнославянскому языку за структурными принципами построения речи из новых лексических единиц. В результате в литературном языке росло число славянизмов, в том числе и новообразованных, потому что «такие процессы, как заимствование, калькирование и т. п., – в принципе способствуют активизации церковнославянских элементов в русском языке <...> и в конечном счете славянизации литературного языка» [Лотман, Успенский 1975: 203]. Славянизмы и русские архаизмы, которые первоначально использовались для передачи «серьезного» стиля, ассоциировавшегося с иностранной литературой, также начали все чаще встречаться в языке собственных сочинений русских писателей. Таким образом, намеренно архаичный литературный стиль, сложившийся в XVIII веке, был продуктом европейских литературных влияний, а не результатом эволюции традиционных русских культурных моделей.

⁶⁰ Так расценивают возникновение споров о языке Ю. М. Лотман и Б. А. Успенский. Другую точку зрения высказывает Н. Н. Булич, согласно которому языковые проблемы имели в этих дебатах второстепенное значение и были лишь поводом обсудить злободневные вопросы [Булич 1902–1905, 1: 120].

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.